

Евгений Сулес

Письма
к Софии
Марсо



КИНОТЕАТР

Ильича

Евгений Валерьевич Сулес

Письма к Софи Марсо

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=54968586

*Письма к Софи Марсо: Русский Гулливер; Центр современной литературы; Москва; 2020
ISBN 978-5-91627-236-9*

Аннотация

«Письма к Софи Марсо» – сборник прозы Евгения Сулеса (предыдущий сборник «Сто грамм мечты» вошёл в лонг-лист «Большой книги»). Письма, которые никогда не дойдут до адресата, поэтому в них можно рассказать о самом сокровенном. О прошлом, которое не сбылось. О будущем, которое иллюзорно. О вещах, которые хочется забрать с собой в смерть и вещах, которые почему-то совсем не нужны в жизни (например, автомобили). О чем-то абсолютно человеческом: о первой любви, предательстве, первом глотке алкоголя, о велосипедном детстве и притче о блудном сыне, о старых пластинках и свете чужих окон, о детях, родившихся в концентрационных лагерях и детях, которые вообще не знают, что это такое, о кладбищах, куда уходят родители и друзья, превращаясь в библейских персонажей, о городах, морях, любимых актерах и актрисах. Проза Сулеса вещественна, детальна, собственная жизнь в ней настолько перемешана с жизнью других людей, что исповедь в ней превращается в многоголосие. Читатель не потеряется в этом

шуме. Потому что автор говорит с нами спокойно, размеренно, и даже смиренно.

Издается в авторской редакции.

Содержание

Часть первая	6
О машинах и людях	6
Про девочку Валою	10
Обет	16
Скелеты за окном	18
Бахчиванджи	20
Другая жизнь	31
Вещественное доказательство	33
Часть вторая	45
Пять тысяч дней детства	46
Прощайте, сны!	51
Письма к Софи. Лето в Крыму	58
Старые пластинки	63
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Евгений Сулес

Письма к Софи Марсо

*моим родителям,
которые ушли и остались со мной...*

Оформление обложки и портрет автора – Анна Пинчук

© Е. Сулес, текст, 2020

© Русский Гулливер, издание, 2020

© Центр современной литературы, 2020

Часть первая

О машинах и людях

О машинах и людях

Машины у нас не было. Машины были не у многих. Машина была роскошью. Машина была – о-го-го!.. Каждая наперечёт. Про людей с машиной говорили со значением: у них машина!.. И когда произносилось слово «машина», все понимали, что речь идёт не о стиральной машине, не о швейной, и уж тем более не о посудомоечной, её мы и представить себе не могли. Все понимали, что речь об автомобиле.

В нашем доме жил таксист дядя Лёва. У дяди Лёвы был служебный автомобиль – белая «Волга». Он иногда заезжал на ней пообедать. А, отобедав и придя в доброе расположение духа, частенько катал на своей белой «Волге» нас, дворовых мальчишек, вдоль дома, до поворота на большую дорогу. Мы любили дядю Лёву.

Дядя Лёва был совсем не похож на артиста Олега Ефремова в фильме «Три тополя на Плющихе». Дядя Лёва был очень толстый. Дядя Лёва был бывший игрок московского «Торпедо». Мы уважали дядю Лёву. «ЗИЛ» был рядом. Но болел я за «Спартак». Как отец и мой родной дядя Боря.

Раньше они болели за «Динамо». Но в конце 40-х дядю Борю, ещё совсем юнца и, надо сказать, очень советского юнца, посадили за антисоветский сговор. Забрали прямо из армии. Мой отец, спустя несколько лет, приехал с матерью, и, соответственно, моей бабушкой, Елизаветой Ивановной, членом партии с 28-го года, к дяде Боре на поселение. Дядя Боря ему тогда много чего рассказал. И про Сталина, и про Достоевского, и про Бога. Но помимо всего прочего он сказал папе: мне теперь болеть за «Динамо» нельзя. Вот с тех пор вся моя семья и болеет за «Спартак».

Был ещё дядя Жора. Мы даже знали его фамилию – Алхимов. И нам она казалась очень смешной. Машина у дяди Жоры стояла всегда в гараже. Вообще не понятно, ездил ли он на ней хоть когда-нибудь. Но в гараж ходил исправно. Мы его дразнили. Сочиняли про него песни. Мы не любили дядю Жору. Но не любили как-то весело.

А у нас самих машины не было. И ни у кого из моих друзей, у их отцов и матерей, тоже. Но три раза в год мама вызывала такси, мы всей семьёй – мама, брат, сестра и я – загружались в машину и ехали на юго-западную окраину. Мы ехали в гости к моему старшему брату.

Я слышал, что якобы в Англии, или в какой-то другой стране, нет домов с тринадцатым номером. Вот хорошо бы, чтобы у моего старшего брата никогда не было тринадцати лет. Двенадцать, а потом сразу четырнадцать. Потому что именно в тринадцать лет он погиб. Утонул, хорошо умея пла-

вать. И три раза в год мы ездили навещать его на Хованское кладбище. На Пасху, на день рождения и на день смерти. Рождение было зимой, смерть – летом, ну, а Пасха – весной, иногда ранней, иногда поздней.

Мама копалась в земле, отмывала могильный крест, цоколь и ограду. Немного – и украдкой, чтоб нас не напугать – плакала; выпивала пару рюмочек, и мы возвращались домой, где мама допивала всё, что оставалось в бутылке.

Эти поездки на кладбище были для меня праздником. Я ждал их. Потому что через весь город, на машине!.. И никаких пробок тогда ещё не было и в помине, так что ехали с ветерком.

Мы выросли. Даже не заметили как. Как-то незаметно. Белая «Волга» дяди Лёвы давно ушла на металлолом, но сам он, ломая каноны жанра, до сих пор жив. И когда я, не так давно, уже в другом тысячелетии и в другой стране, приехал в дом моего детства, дядя Лёва грузно восседал у подъезда, похожий на охранителя града, и мы с ним битый час проболтали, вспоминая жизнь-бытьё сладких советских времён. Бодрость духа бывший игрок московского «Торпедо» и таксист не растерял. Про дядю Жору (Алхимова) ничего не знаю. Моего родного дядю Борю в самом начале нулевых сбила на пешеходном переходе иномарка. Мама, за несколько месяцев до августовских событий 91-го года, не взяв с собой ничего из вещей, переехала к старшему брату.

А машину я себе так до сих пор и не купил. Как-то не хо-

чется. Наверное, в детстве наездился. И плавать не научился.

Про девочку Валу

*И стал я на песке морском...
Откровение Иоанна Богослова.*

День был непривычно жарким. Валя лежала на горячем песке Балтийского моря. Лежать было хорошо. Закрывать глаза и смотреть на солнце. По красным векам бежали круги, солнечный диск оставлял отпечаток, и отпечаток плыл куда-то в сторону и вниз, как падающий с горы раскаленный камень. С закрытыми глазами не было видно недовольных лиц отдыхающих.

Отдыхающих было много. Они приехали со всего Союза, от Москвы до самых до окраин, как будто это был всесоюзный съезд отдыхающих. Они ждали это время целый год, не брали отгулов, копили сверхурочные, откладывали деньги, выбивали путёвки, жили ради этих двух-трёх недель у моря. И вот они приезжали в это место под соснами, оставляли вещи в номерах, быстрым пружинящим шагом спешили на пляж, и там, среди местных красот, на фоне уходящего в бескрайнюю даль моря, им встречалось инородное тело. Точнее тела. Отдыхающие видели странных детей, которые совсем не вязались с этим ландшафтом, входили в противоречие с покоем и негой, лишали веры в безоблачное советское бытие, солнечное, счастливое и справедливое. Наполняли чув-

СТВОМ ВИНУ.

В самый первый момент было непонятно, что не так с детьми. Это был почти миг, секунда недоумения, но уже неприятное чувство закручивалось внутри, подступало, как рвотный позыв. А в следующую секунду картина прояснялась, сознание схватывало нужную резкость. У одного мальчика не было руки. Другой – на костылях без ноги.

Ближайшим соседом санатория был детский дом инвалидов. Эхо войны...

Валю посторонний взгляд не сразу записывал в инвалиды. Руки-ноги на месте. И только более внимательно наблюдая за ней, можно было заметить, что руки в локтях не разгибались до конца. А на самих локтях были округлые вмятины.

Год рождения 1943. Место рождения: немецкий концентрационный лагерь. На руках следы опытов. Каких – сухая и скрупулезная немецкая канцелярия умалчивала. Ещё Валя совсем не чувствовала запахов. Но это уж были совсем пустяки. Это можно было скрывать. До самой смерти. Валя так и решила сделать. Никогда никому, как только выйдет из детдома, про это не рассказывать. Даже мужу. Это будет её тайной.

О родителях Валя знала только то, что мать звали Евгенией, и она была с Западной Украины. Когда Валя попала в детский дом, то говорила только по-немецки. Новая языковая среда обучила быстро и действенно. Валя могла до умопомрачения кричать «trinken», но получала воду, толь-

ко попросив по-русски. В итоге от немецкого языка осталась только специфическая «р», которую принимали за банальную картавость.

Валя лежала на песке и не открывала глаз. Идти в воду не хотелось – она стеснялась отдыхающих. И особенно белобрысого мальчика, который пялился на неё всё утро. Валя была красива. Но не знала об этом, не догадывалась. И это незнание ей очень шло. Не было рядом матери, отца, старшей сестры или брата, которые могли бы ей рассказать о её красоте. Подруги, конечно, говорили об этом. Но Валя думала, что это им только кажется, потому что её инвалидность была не так заметна.

Когда лежать стало уже совсем невозможно, Валя пере-силила себя, встала и пошла к воде. Голова кружилась, всё кругом дрожало в лёгкой дымке, как сквозь свет свечи: море, отдыхающие, белобрысый мальчик, лучшая подруга Лилия с горбом, выходящая на берег из пены морской. Солнце отражалось от воды так, что было больно смотреть. Валины глаза заслезились. Она их закрыла. А когда снова открыла, произошло что-то странное.

То ли как-то особо упал свет, то ли солнце так замысловато отразилось в воде, или просто девочка перележала на солнце... Но так или иначе в воздухе произошёл некий оптический эффект, и Валя увидела что-то вроде миража. В мгновение времени, как перед эпилептическим припадком, в морском отблеске проплыла по волнам её будущая жизнь.

Будто она уже была прожита, и перед гаснущим сознанием мелькали на убыстренной перемотке кадры отшумевшей, как последний полуночный трамвай, жизни.

Кадры мелькали, дрожали в воздухе, Валя видела всё, но сознание успевало выхватывать и делать акцент лишь на отдельных планах и выставлять их в более понятном хронологическом порядке.

Она увидела большие белые сугробы, которых никогда не знала, и как она и другие дети в шапках, тёплых платках и пальто съезжают прямо в них с крыши деревянного дома, как с горки...

...предраассветный большой город, и себя в нём, только-только расцветшую девушку с блестящими глазами...

...мужчину с тонкими чертами...

...коробку с отпечатанными на машинке листами желтоватой бумаги...

...четырёх детей: курчавую хитрую девочку и трёх мальчиков. Первый был не похож на других: русский, с острым носиком. Второй был неестественно мал, как экспонат из страшного музея. А самый младший – чёрен, как цыганёнок. Потом она увидела своего первенца на дне большой реки. Он был весь тёмный и мягкий, как большая водоросль, и его можно было узнать только по острому кончику носа...

...как понесла её белая река, и Валя поняла, что это не река, а что-то другое, липкое и горькое. Белая река несла её, течение становилось всё сильнее, и сама Валя как бы росла,

надуваясь воздухом, разрастаясь в стороны, расходясь, как круги на воде, пуская в реку жидкие корни...

...как на её ногах стали расти тяжёлые пудовые гири, покрытые мхом, и тянуть на дно. Валя всё увеличивалась в размерах и, наверное, не узнала бы уже себя, но руки в локтях с округлыми впадинами предательски не разгибались до конца...

...человека в фуражке и белом халате, накинутом на чёрный мундир, похожего на картошку и смутно знакомого...

...его губы бесшумно и монотонно раскрывались, как у рыбы, которая задыхается без воды. Но Валя поняла, что он сказал:

– Ты не прошла испытание!.. ...был пьян и опыт не удался...

– Нетушки, – вдруг зло ответила Валя. – Это вы не прошли испытание. Вы умерли. А я буду жить!

...человек снял фуражку. Вытер белым чистым платком пот со лба и стёр себе половину черепа. Открыл рот буквой «о», изо рта надулся розовый пузырь и лопнул. Но Валя поняла:

– Разве это жизнь?..

...увидела, что та она, что стала очень большой, плывёт в деревянной лодке и уже не по белой реке, а по чёрной, свежевскопанной земле...

...воскресный день с обманчивым апрельским солнцем...

...лодка вплыла в тихую маленькую гавань-запруду, на

дне которой лежал её первый сын и колыхал ей поднятой вверх рукой...

...лодку накрыли крышкой и кинули сверху горсть гвоздей; рядом проплыло дерево...

Наверное, от солнца укрыли, – подумала Валя.

И тут же догадалась: *Задраили люки, сейчас пойдёт на погружение...*

...рядом с лодкой плакал маленький, хотя уже и не такой маленький, черноволосый младший сын; она подошла к нему и вытерла слёзы...

...лодка стала быстро опускаться, скрываясь под толщей грязной воды...

...Валя разбежалась и прыгнула рыбкой вслед за ней...

И когда она падала – или летела (какая уже была разница?) – то где-то внутри неё, в самом центре, что-то очень важное, может быть, самое важное, разорвалось на части.

А Валя на берегу не в силах больше смотреть отвернулась, встретила глазами с белобрысым мальчиком, улыбнулась ему и пошла в прохладную воду Балтийского моря, стараясь не думать о том, была ли это на самом деле её жизнь или просто... *осевший пар...*

Обет

Когда умерла мама, он дал слово, что больше не будет дрочить. Ему почему-то казалось, что это как-то связано между собой. Не давало покоя чувство вины. И ещё казалось, несмотря на уже четырнадцать лет... как сказать... ему верилось, что если он больше не будет этого делать, мать вернётся. То есть рассудком он ясно понимал, что это невозможно. Но слово дал.

Не прошло и сорока дней, как он, сидя в наполненной до краёв ванне, в нежной тёплой воде сделал это снова. И вот когда клубы вырвались из него и попали в воду, похожие на ключья густого белого тумана, он заплакал. Не так сильно, как в тот момент, когда забивали гвозди в крышку гроба. Но всё-таки заплакал. И жидкости в ванне стало незримо больше.

Ему стало и стыдно, и больно, и противно, и не знаю, как ещё. Он стал сопричастен этой смерти. Не сдержал слово. И значит, мать уже точно не вернётся. Никогда.

Он стоял в сберкассе. Очередь была длинная, изломанная, почти недвижима. Люди застревали у окошка надолго. Время на часах как будто остановилось. На экране плазмы, как издёвка, застывшая картинка: пена набегающих на берег волн.

Он вспомнил, сколько ещё раз делал это. *Несть числа семени не упавшему в землю и не принесшему плода...* И сколько раз изменял жене. Вспомнил маму, и ту ванную комнату, и белые хлопья в тёплой воде... Вспомнил, как ему тогда казалось, что она всё это видит. И моргнул глазами.

– Здесь будет большая комиссия, – сказала девушка в окошке.

– Я знаю, – ответил он.

Скелеты за окном

Когда мне было три года, меня напугал мой старший брат. Мы жили на первом этаже, стояло жаркое лето восьмидесятого, високосного, года, он подошёл к открытому в московскую ночь балкону – в этой законной тьме, если приглядеться, уже можно было прозреть грядущую Олимпиаду и смерть Владимира Семёныча – и закричал, показывая рукой в темноту: «Скелеты! Скелеты!»

Я так испугался, что начал заикаться. Правда, врач говорил, что это у меня слова не успевают за мыслями, и это пройдёт. Но я-то знал, что это от скелетов. Однако доктор оказался прав в том, что со временем прошло.

Потом брат напугал до смерти мою сестру. Тем же, густым, летом отец взял их с собой в какую-то экспедицию на Оку, в которую кто-то взял в свою очередь его самого – там была сложная цепочка. Перед экспедицией отец сломал ногу, но всё равно поехал. Ночью в палатке брат трижды просыпался с криками: «Не топите меня! Не надо!..» На следующий день он утонул в этой самой Оке, хорошо умея плавать.

Спустя семнадцать лет меня так же подозвала к окну девяностолетняя двоюродная бабушка моей будущей жены и, ткнув слегка дрожащей, как пламя свечи, рукой в сумеречную темноту, сказала: «Там они». «Кто?» – не понял я. «Покойники», – сказала она буднично. И мне стало страшно. Ну,

может, не так, как в три года стало страшно скелетов за окном, заикаться снова я не начал. Но подумал: вот бабушка умирает...

Она действительно умирала. После того, как её соборова-ли, как это часто бывает, процессы стали настолько стреми-тельные, что не было никаких сомнений, счёт идёт на дни. Умерла она через два дня, не став опровергать нашу уверен-ность в невидимом. Перед смертью попросила сигарету, как солдат перед боем. Никогда не курив, умело затягивалась, ни разу не закашляла, смотрела на нас изумлённых, улыбаясь из лёгкой никотиновой дымки не своей улыбкой, не своими глазами.

Так вот, я подумал... бабушка умирает, и, может быть, там за окном и, правда, покойники. Просто я их не вижу, а она видит. И ещё подумал, вспомнив скелетов за окном, может, и Лёша – мой старший брат – тоже тогда не шутил.

Бахчиванджи

До Бахчиванджи можно доехать на маршрутке прямо от автовокзала на Щёлковской. Когда стемнеет, зажигаются огни, автовокзал становится похож на большой межатлантический лайнер.

Я никогда там не был. Как-то шёл промозглым осенним вечером к метро и слева от лайнера прочитал на одной из маршруток: «Бахчиванджи». И сразу представил: садишься на маршрутку, проезжаешь энное количество остановок, выходишь, а там: тепло, южное солнце, бахча кругом плодоносит. Срывай, ломай и ешь прямо руками.

С тех пор всякий раз, проходя мимо автовокзала, я искал глазами нужную маршрутку и заветное слово на ней. И представлял, что как-нибудь плюну на всё, и вместо того, чтобы поехать на метро по делам, возьму шкалик виски и сбегу на маршрутке вон из Москвы в благословенные земли Бахчиванджи.

Но это всё мечты, конечно. Никуда бы я так и не поехал, если бы не Виталик.

Виталик никак не мог к нам приехать. Пришлось самому его навещать; как оказалось в Бахчиванджи. Виталик сменил много съёмных квартир в Москве, пока не вернулся к родителям в Подмосковье. А там – прямой дорогой в Бахчиванджи.

Поехал я один, так захотелось. День был плохой. Пасмурный, с низким тяжёлым, как из чёрно-белых фильмов, небом над головой. Не в такой день хотел я отправиться в Бахчиванджи. И не к Виталику...

Кладбище было голое, унылое, новодел было кладбище. Пока тщетно искал нужный участок, продрог. Грязь налипла на ботинки. Я тяжело передвигал ногами, как водолаз под водой. Местный житель, могильщик, мужик лет пятидесяти в испачканной землёй одежде, пошёл проводить. От нечего делать, или надеясь, что перепадёт помянуть – бутылка виски, не таясь, торчала у меня из кармана пальто.

Интересно, кладбище это общественное место, здесь можно или нельзя? Представляю протокол в местном отделении: *Сержант такой-то задержал гражданина Евгения С. за распитие спиртных напитков в общественном месте – кладбище посёлка Бахчиванджи – с целью помянуть душу своего усопшего друга Виталия М...*

Могильщик, как и полагается людям его профессии, был весел. Вильям, ничто не изменилось за века!.. Других не берут в космонавты. «А в этом месте по-другому не прожить», как пела известная уральская группа.

Я решил согреться и отпил из бутылки, зная, что алкоголь не согревает. Вера сильнее знания. Иллюзия слаще горькой правды. Протянул могильщику.

– Мерси, – крикнул могильщик. – Прямо из горла что ль?

У меня стакан имеется.

Он достал откуда-то из широких штанин классический граненый стакан, показал. Так дети любят хвастаться какой-нибудь диковинной и совершенно никчёмной вещью: камнем, веточкой, зелёным бутылочным осколком.

– Вы давайте из стакана, а я из горла. Как старый ковбой из фильмов Сэма Пекинпа.

– Как скажете, – кротко произнёс могильщик. – К слову, замечу, названный вами режиссёр мне незнаком. Я больше по отечественному кинематографу.

– И кто же вам из отечественного? Леонид Гайдай?

Могильщик налил себе полстакана, вернул бутылку. Глянул на меня:

– Почему Гайдай? Мне ближе поэтика нашего старого кино. «Большая жизнь» Лукова, «Два бойца». «Летят журавли» Калатозишвили... Простое человеческое кино.

Он посмотрел в стакан с виски, будто там, на поверхности маленького торфяного озера, и показывали это «простое человеческое кино».

– Наверное, надо вдохнуть аромат? Но я уж так. Как вашего... родственника зовут?

– Друга. Виталик. Звали...

– У Него, – и могильщик ткнул пальцем в небо, – все живы. Пусть земля будет пухом рабу Божьему Виталию.

Он перекрестился, резко выдохнул и влил в себя полстакана виски. Хорошо, что «Белая лошадь». А если бы «Лага-

вулин»?.. Дальше шли молча. Не люблю молчать с незнакомыми.

– Странное название «Бахчиванджи», – сказал я, чтобы что-то сказать.

– Отчего же?

– Ну какое-то... восточное.

– Это фамилия. Посёлок назван в честь лётчика Бахчиванджи, Григория Яковлевича.

– Никогда про такого не слышал.

– Ну как же, выдающийся лётчик, герой Советского Союза, капитан! Шестьдесят пять боевых вылетов, двадцать шесть воздушных боёв... Два самолёта сбил лично: «Дорнье-217» и «Юнкерс-88», и ещё три в группе: два «Юнкерса» и один «Хейнкель-126». Погиб в самый разгар войны, в сорок третьем году, в тылу, при испытании реактивного истребителя-перехватчика «БИ-3», первого советского самолёта с жидкостным ракетным двигателем. Дело было под Свердловском, в начале весны, двадцать седьмого марта. До этого Бахчиванджи уже испытывал «БИ-1». Для стоявших на земле и наблюдавших полёт, всё было необычно. Самолёт за десять секунд оторвался от земли, а через тридцать скрылся из глаз. Только пламя двигателя говорило о том, где он сейчас. Посадка была жёсткой. Потом Григорий Яковлевич провёл ещё четыре испытательных полёта на «БИ-2» и «БИ-3». И вот тот самый, последний, полёт Бахчиванджи двадцать седьмого марта. Задача не из лёгких. Самолёт проверяли на

максимальную высоту и скорость. Нужно было в горизонтальном полёте на высоте две тысячи метров довести скорость до 800 км/ч. С земли за полётом наблюдали создатели самолёта, товарищи, любимая женщина. Смотрели фильм Юлия Райзмана «Лётчики»? Вот всё как в фильме. Только самолёты серьёзней. И война. Хотя здесь на Урале, кажется, что её будто и нет. Только люди уходят и не возвращаются... Они смотрели в небо, затаив дыхание. Полёт протекал нормально. На семьдесят восьмой секунде двигатель перестал работать. Так и должно было быть – лётчик должен был дожидаться выключения двигателя по окончании топлива. Григорий Яковлевич в этот момент развил скорость уже свыше 900 км/ч! Но тут самолёт вошёл в пике и под углом около пятидесяти градусов ударился о землю. Его находят в шести километрах южнее аэродрома. Бахчиванджи не предпринял никаких попыток выровнять самолёт или покинуть машину. Видимо, к тому времени он уже потерял сознание, ударившись солнечным сплетением о штурвал. Григорию Яковлевичу было на тот момент всего тридцать четыре года.

Могильщик замолчал, будто отдавая дань памяти погибшему лётчику.

– Честно говоря, я поражён, – сказал я, помолчав вместе с могильщиком. – Вы знаете и помните столько подробностей...

– Люблю читать. И память хорошая.

– И что вы любите читать?

– Историческое, в основном.

Могильщик красноречиво глянул на торчащее из кармана моего пальто горлышко с жёлтой пробкой. Я поспешно достал и протянул ему бутылку. Мы снова остановились, могильщик налил себе всё те же полстакана и аккуратно, будто под уздцы, вернул мне мою *лошадь*.

– Тут уже недалеко до вашего товарища осталось. За раба Божьего Григория Яковлевича Бахчиванджи!

Я кивнул и сделал большой глоток из горла.

– Фамилия какая-то странная. Чья? Абхазская?

– Нет, он из греческих гагаузов.

– Надо же. Греческий гагауз. Я и не знал, что такие есть...

– Редкий народ. Их всего тысяч двести, триста осталось. В основном, в Молдавии живут. Григорий Яковлевич родился в Краснодарском крае. В двадцать седьмом году перебрался в Мариуполь...

– Мариуполь?

– Слушайте, неужели нельзя произнести Мариуполь, или Донбасс, чтобы в вашей голове не возникло никаких актуальных аллюзий?

– Сложновато...

– Вообще-то, да, непросто. Тем не менее, из песни слов не выкинешь, Бахчиванджи в двадцать седьмом году переезжает в Мариуполь и участвует в строительстве «Завода имени Ильича». Но вот мы и пришли. Вот этот участок должен быть. Он?

Я взгляделся в надпись на маленькой железной табличке, вкопанной почти на уровне земли.

– Да... Он. Спасибо.

– А ваш друг? Кем он был?

Вопрос поставил меня в тупик. Я смотрел на табличку и думал. Виталик, кем ты был? Как ответить этому любителю читать «историческое» с хорошей памятью?

– Молодой совсем, – не дождавшись ответа, сказал могильщик. – Тридцать пять всего.

– Да.

– Так кем он был?

Я выдохнул воздух.

– Он был пидарасом.

Наверное, надо было сказать «гомосексуалистом». А точнее, вообще об этом не говорить. Но часто, когда мне становится неловко, что-то тяготит и напрягает, я прячусь за грубость.

Могильщик, казалось, совсем не смутился и не потерял своего философского настроения.

– В прямом или переносном смысле?

– В прямом.

Могильщик немного помолчал. Но уходить явно не собирался.

– А вы?

– Что я?

– Ну вы тоже... того?

– Нет. Я нет.

– Извините, просто он ваш друг, вот я и подумал, может быть, вы тоже...

– Нет. Он да, а я нет. У меня жена, ребенок...

– Ну это никому не мешает.

– Тоже верно. Но нет. Не знаю, может, я вас огорчил...

– Нет-нет, не огорчили, что вы. Свободу воли ещё никто не отменял... А чем он занимался, кем работал?

– Да этим и работал...

Казалось, что нет на свете вещи способной его удивить.

Но тут глаза могильщика слегка округлились.

– Это как?

– Сначала он работал в театре администратором...

– В театре Виктюка?

– Почему Виктюка?

– Ну раз он этот...

– Ну знаете. Такие люди могут в любом театре оказаться.

И не только, кстати, в театре. Вот у вас, например, на кладбище. Вы приглядитесь, всё может быть.

Могильщик как-то косо на меня посмотрел, но возражать не стал. Я продолжил историю Виталика.

– Так вот, он работал администратором в театре, не Виктюка, в другом. А, чёрт!.. Да. Да! Он работал у Виктюка. Но мог работать, где угодно, в каком угодно другом театре, и не в театре вообще. Работал очень хорошо на хорошем месте. А потом... переспал с кем не надо. Или, наоборот, с кем на-

до не переспал. В общем, его уволили. И он стал зарабатывать... вот этим самым. Давал объявления в газете. К нему приезжали богатые упакованные дяди с охраной, на больших чёрных машинах с тонированными стеклами. Он был красив. Утверждал, что внук маршала, в честь которого названа одна из улиц Москвы. Правда, в голубых кругах, как мы потом узнали, у него было прозвище Сказочница. Так что, может, он это всё и выдумал. Он много чего рассказывал. Не поймёшь теперь, где правда, где нет. Говорил, что в детстве его насиловал отец... Но порода в нём читалась. Так что всё может быть насчёт деда-маршала. В него постоянно влюблялись женщины, помогали ему, становились податливыми, как пластилин, от одного его присутствия. Он, кстати, не гнушался, мог иногда забить гол в чужие ворота.

Я замолчал.

– Как он умер? – не унимался могильщик.

– Он умер от СПИДа, в сумасшедшем доме. Где-то здесь недалеко. Его, наверное, никто там не навещал. Мы поругались, не общались, узнали о смерти случайно и не сразу. У него крыша совсем под конец поехала. То ли на почве болезни, то ли изначально с головой было не в порядке. Скорее всего, второе. Жену мою называл Магдалиной. Себя Иисусом. Меня Иудой. Он меня не любил. Он был другом жены. Она тоже была в него влюблена. В общем, как и все. Возила продукты, давала денег. Когда я появился, он начал ревновать... Года за полтора до смерти, его ночью, пьяного,

пырнули ножом, совсем рядом с сердцем. Чудом жив остался. Тогда про СПИД и выяснилось... Выжил, уже будучи неизлечимо болен, чтобы умереть через полтора года в сумасшедшем доме.

Я говорил без остановки, не знаю, зачем. Говорил, а сам думал, зачем я ему это всё говорю?.. Бред какой-то. Я достал бутылку, отпил. Вспомнил про могильщика, который смиренно стоял на смиренном кладбище и ждал, когда про него вспомнят. Протянул ему бутылку, он налил свои традиционные полстакана. Я вдруг понял, что он не уйдёт, пока мы не допьём.

– Доливайте, чего уж там.

Могильщик долил, но не всё. Протянул мне остатки.

– Думаю, или, точнее, желаю, чтобы страдания вашего друга искупили все его прегрешения. Вменились, так сказать, в праведность. Жизни без греха не бывает. А греха без жизни. На том свете не погресишь... Мне кажется, ваш друг сильно пострадал на этом свете. А Бог милостив.

Могильщик выпил, издав какой-то глухой утробный звук. Убрал стакан в широкие штанины, достал оттуда яблоко. Потёр, протянул мне.

– Спасибо.

– Дорогу назад найдёте?

– Да, найду.

– Тогда будьте здоровы! Заходите к нам, не забывайте.

Он повернулся и зашагал верной походкой по кладбищен-

ской дорожке. Потом оглянулся, широко улыбаясь.

– А всё-таки у нас на кладбище таких нет. Я бы знал. Я всё про всех знаю. Ну бывайте. Духом не падайте. Земля всё перемолит. Помолится за нас.

Набежали быстрые осенние сумерки. Я побрёл к выходу, ощущая, как скачет в моей крови, летит по венам *белая лошадь*. Говорил по дороге то с Виталиком, то с Богом.

Прости, Виталик, за всё. За то, что оставили, не были с тобой до конца... Мы плоды твои, Господи. Гибридные, недозревшие, бахча северных широт. Возьми в руки твои, Господи. Может, у Тебя в ладонях заплодоносим, заголосим.

Другая жизнь

В детстве, и потом, став старше, я любил смотреть на чужие окна. Особенно осенними вечерами, когда город окутывает темнота, прозрачный воздух густеет, как будто его закрашивают синей гуашью, в квартирах зажигают свет, на улице зябко, а там, за жёлтыми окнами, – тепло.

От окон, от их света веяло уютом: горячим чаем, клетчатый пледом. В этих окнах, в каждом из них, была другая, неизвестная мне жизнь. И другая не только в том смысле, что отличная от моей, но другая качественно, лучше моей. Так мне казалось. И признаться, до сих пор бывает кажется, когда я смотрю на вечерний свет в окнах много и малоэтажных домов.

Умом я понимаю, что никакой *другой* жизни там нет. Нет ничего нового с той стороны светящихся окон. И уж тем более качественно другого, лучше моей доли, там нет и быть не может. А если вдруг где-то и есть, то *и это пройдёт*, пролетит быстрее сна – стечёт всё туда же, куда всё утекает по городским трубам вниз по течению той самой реки, имя которой...

Умом я это хорошо понимаю (хотя раньше верил в обратное), но где-то внутри меня живёт, продолжает глазеть украдкой завистливое око, большая жаждущая рыба, *что никак не может найти достаточно того, что жаждет*. И я

продолжаю смотреть на чужие окна, на свет в них, на занавески (которые порой колышет ветер), иногда слышны голоса, мелькают тени, и другая жизнь предстаёт мне, расцветает во всей своей мнимой красоте.

Но кто знает, может быть, именно в этот момент жизнь как раз и является в своём настоящем свете? Лишенная тревог и волнений, суеты и быта, придуманных желаний и пустых сожалений, что что-то там не сбылось и не исполнилось, залезших в голову и сердце чужих идей и мыслей. Как женщина, на которой было много несуразной, не по размеру одежды, и вот она скинула весь этот ворох, и ты увидел её такой, как она есть.

И когда-то моя собственная жизнь предстанет мне так же: игрой теней и света в окне дома, куда я уже не смогу войти, а только взглянуть со стороны, вдохнуть напоследок, и увидеть её без всей этой шелухи, и понять наконец как она прекрасна.

Вещественное доказательство

I

Он любил похороны. Ему нравились кладбища, особенно старые, превратившиеся со временем в дикий разросшийся сад. Кладбищенское карканье ворон вызывало туманные, как через запотевший от холода объектив, картинки тихих будней какого-нибудь ничем не примечательного провинциального монастыря.

Свадьбы, наоборот, тяготили его, он чувствовал себя на них не в своей тарелке. Происходящее казалось общим негласным сговором людей, на самом деле не сильно верящих в счастье брачующихся, в *дом полную чашу* и прочие атрибуты долгой радостной жизни со смертью в один день и час, но тщательно скрывающих своё неверие от молодых, да и от самих себя, гонящих безверие безудержностью веселья, заклинающих судьбу полуритаульными заговорами-тостами с громоподобным истеричным «горько» в конце. Слезы родителей казались ему вполне естественными и уместными, и он не кричал вместе с другими гостями и тамадой, что это слёзы счастья.

На похоронах же ему делалось как-то спокойно и хорошо, особенно если проходило отпевание в церкви. Всё наносное,

суетное, вечный внутренний раздрай отходили в тень. В жизни, такой бессмысленной и тягучей, в этих *лукавых* днях, начинал брезжить очень простой и практически осязаемый смысл. И чтобы обрести его, на жизнь нужно было посмотреть не с начала, не с середины, а с финала. Смысл брезжил, как свет в конце тоннеля, и был похож на церковную свечку, поставленную на канон. Единственным и бесспорным фактом, делавшим жизнь бесценной, была её конечность и конечность скорая. А в гробу лежало главное вещественное доказательство, неопровержимая улика, благодаря которой круговерть обретала ясный смысл.

Конечно, он скорбел по умершему, скорбел искренне, жалел его и особенно его близких, но вместе с тем в душу входил мир, хотелось жить, жить на полную катушку, и при этом правильно, не растрачиваясь по пустякам. Но спроси его в этот момент, а что значит «правильно» – он бы вряд ли ответил.

А двадцать лет назад всё было не так. Тогда душу выворачивало наизнанку, солнце потухло в миг, всё потеряло смысл, и жить не хотелось совсем. Даже не то, что не хотелось, а просто жизнь остановилась, оборвалась, будто умер он сам, лично.

Был его день рождения, четырнадцать лет, он готовился к приходу гостей, должны были прийти друзья, и среди них – самая красивая девочка в классе. Он искал для неё какие-то смутные слова, сам не зная, что именно и как он ей скажет,

но точно решив, что – сегодня.

В памяти на долгие годы отчётливо запечатлелся тот факт, что, как только старшая сестра вошла в квартиру, он всё сразу понял, ещё до того, как она успела сказать, до того как увидел её лицо. Но в последнее время он стал сомневаться и думать, что, возможно, это особый эффект памяти, обман сознания, сродни обратной перспективе сна, когда сначала звонит будильник или телефон, а за ним уже во сне к этому звонку достраивается сюжет. В тот день ему пришлось обзванивать друзей, говорить, что приходить не надо. Свой собственный голос ему слышался как бы со стороны, будто сквозь вату.

Со смертью матери, думал он тогда, кончилась жизнь. Но, как оказалось, кончилось детство, а жизнь-то как раз только началась.

II

О смерти Михал Михалыча он узнал от Юры Шурыгина. И только потом прочёл в интернете скудную справку. Семьдесят семь лет жизни уложились в три небольших абзаца новостной ленты. На одном из сайтов сообщалось время и место отпевания. В назначенный день поехал.

Было воскресное утро в самом начале октября. Церковь затерялась в переулках в центре Москвы, где ему всегда хотелось жить и где он никогда не жил, да и вряд ли уже жить

будет. По дороге он корил себя, что в последние годы не приезжал к Михал Михалычу и так редко звонил. Вспоминал посиделки на переделкинской даче, где Михал Михалыч жил последние годы. Обсуждения текстов, его рассказы за чаем о том о сём, всегда такие живые и интересные, пронизанные каким-то детским восприятием жизни и особым юмором.

Последние годы Михал Михалыч уже плохо говорил, с трудом передвигался, вместо одной из ног стоял протез, но при этом сохранял удивительную ясность ума. За ним ухаживала его четвёртая жена, Татьяна Валерьевна. Она была его сильно моложе, и если бы не она, то Михал Михалыча, наверное, давно бы уже не было на свете. Она по нескольку раз в год ложилась с ним в больницу, сопровождала его на всяческие семинары, по которым Михал Михалыч продолжал ездить почти до самого конца.

Татьяну Валерьевну он вспоминал с особым чувством. Между ними как-то быстро установилась взаимная теплота и близость. Ему казалось, что она выделяла его среди других учеников. А может быть, это просто был особый тон, истинная интеллигентность, почти утраченная ныне, когда каждому приходящему кажется, что он на особом счету.

Церковь была небольшая, людей пришло много; известных, очень известных и неизвестных совсем. Отпевание уже началось. С несколькими знакомыми он поздоровался глазами и кивком головы, поискал Татьяну Валерьевну, не нашёл, она, видимо, стояла рядом с гробом, куда было не протис-

нуться. Он встал в стороне, попытался сосредоточиться на службе. Но смысл церковнославянских слов ускользал, и сам он тоже ускользал, сбегал куда-то в прошлое, в воспоминания, в лето, на переделкинскую веранду...

В нескольких шагах от дома Михал Михалыча за обветшалым забором находилась полная запустения территория. Когда-то, ещё при Союзе, здесь был детский санаторий. Он попал в него в третьем классе, на вторую, самую короткую, четверть, ту, что перед Новым годом. Был он мальчик домашний, последний ребёнок в семье, в детский сад не ходил, в лагерь не ездил, с новыми людьми сходил плохо, и потому всё время хотел вернуться домой, да так сильно, что первые дни каждый тихий час и перед вечерним отбоем бесшумно – чтоб кто не заметил и не засмеял – и безутешно плакал. Впрочем, санаторий был восстановительный, для больных детей, так что плакал он там далеко не один. Потом худо-бедно попривык. Но когда получал из дома письма, снова плакал.

Как-то раз они с ребятами прокрались во время прогулки в комнату дежурной, куда-то отошедшей, и смог позвонить домой. Это было так странно – мамин голос в телефонной трубке... После короткого разговора навалилась такая тоска, что это был самый тяжёлый день из всех, проведённых там.

За несколько дней до окончания срока он заболел ветрянкой, и его отправили домой. Мама сама приехала за ним на такси. Оставшиеся в санатории махали рукой, обменива-

лись телефонами, обещая обязательно позвонить, встретиться, там, на свободе, приехать в гости, и утирали украдкой слёзы. Одна девочка, с которой он почти не общался, стояла молча возле машины и как-то странно на него смотрела. И только, когда он уже сел и машина тронулась, она замахала ему рукой. Он не понял её взгляда, но запомнил навсегда. В этом взгляде было предчувствие чего-то, чего ещё нет, но скоро будет. Как Новый год. Не так чтобы много раз, но были потом в его жизни ещё женщины, которые смотрели на него так же.

Они ехали по заснеженному Переделкину, мимо дома Михал Михалыча, о существовании которого он ничего тогда не знал. Потом по менее заснеженной Москве. В тот день шёл чемпионат мира по хоккею. Наши с кем-то играли. Лёд на экране чёрно-белого телевизора «Рекорд» источал ослепительно счастливый белый цвет.

Потом был Новый год, «Ирония судьбы...», несколько глотков шампанского, и сидение до трёх часов ночи за праздничным столом у телевизора – таинственное проникновение в мир взрослых. А на утро – солнце, мороз и подарки под огромной, до самого потолка, живой ёлкой. Мать умерла через пять лет.

Он часто вспоминал тот день, когда они звонили домой из санатория и думал, что если бы были разрешены звонки на тот свет или с него, – нам было бы намного тяжелее жить.

Когда хоронили маму, он всё запоминал с фотографиче-

ской точностью. Кто что сказал, как посмотрел, как пожал руку. Запомнил, что отец разговаривал в автобусе громче других...

Юра Шурыгин подошёл уже к концу службы, взволнованный, беспокойный. Встал рядом, постоял, куда-то ушёл, снова вернулся.

В отпевании Михал Михалыча был один момент – служил его родной сын, священник, отец Димитрий. Об этом все знали. Возможно, поэтому в его служении ощущалось особое чувство, мужественное, глубокое и личное, не требовавшее никаких внешних проявлений. Выражалось оно, пожалуй, только в неспешности, с которой он служил. Она придавала чину торжественность и украшала его; была очень к месту. Ведь крайне непригляден вид борзящегося священника во время заупокойной службы. Какое-то есть в этом несоответствие. Безвременья, в которое впал лежащий в гробу, и спешки молитв о нём.

Михал Михалыч, не будучи сильно воцерковленным человеком, гордился сыном-священником, внуками и внучками, которым было несть числа. *Умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря...* Одного звали Серафимом.

Ему запомнился рассказ Михал Михалыча, как он заспорил с сыном по какому-то религиозному вопросу, а тот как отрезал:

– Папа, я про это сейчас гораздо больше тебя знаю.

Когда служба закончилась, отец Димитрий сказал короткую проповедь. Перед началом он немного помолчал, а потом заговорил:

– Здесь собрались разные люди. Некоторые знали отца дольше меня. Вы сможете сказать лучше, каким он был человеком, писателем... А я хочу рассказать вам одну историю. Просто историю. Один мой товарищ, священник, такой современной формации, хорошо образованный, не склонный ко всякой пустой мистике, по долгу службы отправился на освящение нового храма, который был возведён на месте старого, разрушенного во времена гонений. Было это в Туркменистане. Во время службы он обратил внимание на одного священника. Тот имел очень не благообразный вид. Заросший, грязный, в каких-то доисторических больших пыльных ботинках. Мой товарищ решил сделать ему замечание за внешний вид. И вот кончилась служба. А этого священника нигде нет. Он стал про него спрашивать. Но никто его не видел и не понимал, о ком речь. Чуть позже в разговоре о старом храме выяснилось, что при разрушении был также убит настоятель. У кого-то даже нашлась фотография. И мой друг узнал на ней неблагообразного священника, которого хотел отчитать... Вот такая история. Мой отец лежит сейчас во гробе. И сегодня ляжет в землю. Истлеет дерево. Истлеет тело. Но я знаю, что он восстанет, живой, во плоти, так же, как, однажды умерев, восстанет каждый из нас. И для меня главным является то, что отец перед кончиной причащался

святых Христовых Таин. То, что Господь дал ему время и возможность покаяться. И я верую и надеюсь, что Господь простит отцу его грехи, и он наследует Царствие Божие.

Затем было много речей и слов, сказанных прямо в храме. Говорили о таланте Михал Михалыча, о его вкладе в культурное наследие, о его человечности, о том, как он умел дружить... Гроб утопал в цветах, а прощание в словах, многие из которых, особенно здесь, в церкви, после слов отца Дмитрия, казались лишними, громоздкими, неуместными.

Когда всё кончилось, долго подходили к гробу. Он подходил уже в последнем потоке. Положил цветы, перекрестился, поцеловал Михал Михалыча в лоб, покрытый бумажной лентой с восьмиконечным крестом и молитвой. Снова не увидел Татьяну Валерьевну. Вышел на улицу.

Свежий воздух был как нельзя кстати. Прозрачного осеннего воздуха будто не хватало. Хотелось надышаться впрок. На всю оставшуюся жизнь. Подошёл Юра Шурыгин. Молча крепко обнялись. Юра закурил.

На похоронах вспоминаются все похороны, которые ты пережил. Сплетаются воедино. Будто тебя окружает сонм умерших. Словно воздух становится соткан из ушедших душ. И усопшие приходят забрать новопреставленного и препроводить по месту нового назначения.

– Ты не видел Татьяну Валерьевну? – спросил он Юру, прервав молчание.

И – как и тогда, в первый раз, с матерью – всё начало кру-

житься, как вечерний снег, земля стала уходить из-под ног, земля поплыла... и по тому, как округлились Юрины глаза, как изменилось его лицо, по той тишине, через которую тот ответил, он понял всё, ещё до прозвучавшего ответа.

Помотал в ответ головой. Спросил беспомощное: «Когда?»

Уже полгода...

В один миг покой, которым исполнился его дух, покой, к которому он шёл и которому учился два десятка лет, – улетучился, испарился, будто его и не было вовсе. Семьдесят семь лет и долгие годы тяжелейшей болезни располагали к смирению, к принятию смерти. Но уход молодой ещё, здоровой женщины... Он шёл на одни похороны, похороны – избавление, а попал на другие.

Наскоро и неловко обменялись с Юрой новостями, думая каждый о своём. Поспешили распрощаться. Хотелось, очень хотелось, остаться одному.

Москва особый город. Но почувствовать это дано не каждому. Москва сокрытый город. И открывается далеко не всем. Благоклоннее всего Москва бывает в воскресный день где-нибудь в центре, в старых переулках. Хорошо если человек оказывается здесь без видимой цели, один, бредёт, не имея точного маршрута. Тогда Москва может приоткрыться такому бродяге незнакомой улочкой, старым уютным домом. А если человек идёт из церкви, да ещё с отпевания, то уж тут Москва не поскупится.

Он шёл по своему родному городу, и казалось ему, что это какой-то незнакомый город. Столько осенней московской красоты ему открылось. Он шёл точно по слову: *куда глаза глядят*. На душе было тяжело и горько, и ровно в меру этой горечи открывалось красоты.

Надо было что-то сделать. Казалось, не хватает капли, всего одной капли, одной слезы, чтобы воскликнуть: Лазарь, иди вон!.. Воскликнуть с такой силой и верой, что окаменевший Лазарь вздрогнет и вправду встанет, обвитый пеленами, и выйдет вон.

Он достал мобильный, хотел набрать жене, но передумал и выбрал другой номер.

– Ух, ты! – удивился бодрый, но потрескавшийся голос. – Случилось чего?

– Да нет, Виктырыч, всё хорошо... Просто позвонил... Просто так... Проведать...

– А-а... Ну, это, правильно, правильно... – усмехнулся Виктырыч. – Ну, я жив, жив... Пол-лёгкого мне ко всем моим прочим радостям оттяпали в июле. Но ничего, дышу, копчу, топчу, поиграть ещё хочу... Ты это правильно, что позвонил. Ты позванивай. Я тебе какую-нибудь фигню скажу. Ты – мне. Разговор!.. Старику приятно... А то и заходи. Я ещё полрюмочки могу осилить. И лучше с супругой. Уж больно мне твоя супруга нравится. Статная женщина. Добротная.

Ш

Осенью на даче хорошо. Природа, будто притаившись, застывает в ожидании холодов, затвердевает, словно на холсте. Дни всё короче, темнеет всё раньше, всё заметнее.

Он сидел в сумерках, не включая свет, пил чай с вареньем и посматривал за окно. Тёща пошла выгонять коз мимо крючковатых яблонь. Тесть чем-то стучал в сарае. На втором этаже бегали и шумели дети. А жена сидела рядом и тоже пила чай. Все были живы. Жизнь имела смысл. Жизнь была бесценным даром, и кроме неё на свете не было больше ничего. Одна жизнь.

Часть вторая

Мир вещей

Юрий Олеша в рассказе «Лиомпа» описывает тяжело-больного человека.

Когда он понял, – пишет Олеша, – что умирает, то понял он также, как велик и разнообразен мир вещей и как мало их осталось в его власти. С каждым днем количество вещей уменьшалось. Такая близкая вещь, как железнодорожный билет, уже стала для него невозвратно далекой...

В финале умирающий вставал с постели и шёл, *согнувшись в животе и вытянув руки с повиснувшими кистями. Он шёл забирать вещи.*

Не открою Америки (которая, к слову, также упоминается в рассказе среди исчезающих вещей: наряду с другими странами, возможностью быть красивым или богатым, семьей и проч.), если замечу, что все мы умираем с разной скоростью, хоть некоторые и чают в глубине души оказаться счастливым исключением. Многие окружавшие нас вещи уже давно *не в нашей власти*. И все мы, рано или поздно, подобно герою рассказа, отправляемся за ними с вытянутыми руками на дно нашей памяти.

Я иду за своими.

Пять тысяч дней детства

*О, боги, боги мои...
велосипеды мои...*

В детстве, как и все мои друзья, я просто умирал, как хотел велосипед. И не какой-нибудь там, а «Салют-С»! Я им просто бредил. Но стать обладателем велосипеда было не просто.

Сначала надо было уговорить маму. Но это было дело решаемое. Маму всегда можно было уговорить, хотя и требовало порой времени. Если же переговоры вдруг заходили в тупик – чего, правда, почти никогда не случалось – можно было воспользоваться днём рождения. Это беспроегрышный вариант. Для чего, в конце концов, ещё существуют дни рождения?!..

Так или иначе, всеми правдами и неправдами, я уговорил маму собрать и раскошелиться на значительную для нас сумму. Но это было только полдела. Теперь нужно было, чтобы велосипед появился в продаже.

И я начал его караулить. Каждый Божий день после школы я шёл в «Спорттик» (спортивный магазин), находившийся неподалеку, и спрашивал, не завезли ли «Салюты-С». Я видел, что их не завезли. Но на всякий случай обязательно уточнял у продавщиц.

В конце концов, они все, не зависимо от смены, знали меня в лицо и, завидев, кричали на весь магазин: *мальчик*, «Салютов» *нет!*.. Мужественно терпя превратности безжалостной слепой судьбы, не дрогнув ни одним мускулом лица, я молча поворачивался и шёл домой дольше обычного. Там бывали какие-то другие марки, но меня интересовал только «Салют-С», такой, как у Макса с седьмого этажа, лучший велосипед на свете.

Время шло, и я переживал, как бы мама не употребила отложенные на велосипед деньги... на какие-нибудь свои нужды. И вот однажды вместе с товарищем, не сильно веря в успех предприятия, но не нарушая заведенной традиции, я завернул после школы в «Спортик». Учились мы во вторую смену, так что был ранний вечер.

Уже на подходе я заметил странное оживление. У «Спортика» толпились люди. Расплёскивающие во все стороны довольство дети, не смотря на присутствие отцов, пытались сами тащить упакованные – тут моё сердце чуть не оборвалось – «Салюты-С». Я вбежал в магазин.

«Мальчик, ну что же ты?! – всплеснула руками крутобёдрая продавщица, с улыбкой актрисы Нонны Мордюковой. – Где же ты ходишь!.. Все твои «Салюты» сейчас разберут!»

Как она правильно сказала. Это и были мои Салюты. Ведь это я, как самый последний рыбак, так долго ждал, когда клюнет мой «Салютик»!.. И вот он клюнул. Целая стая «Салютов-С» плыла вверх по течению и уплывала в чужие руки.

Их ловили голыми руками, без наживки, казалось, все, кроме меня. Тогда я впервые задался третьим основополагающим вопросом действительности: «Кто все эти люди»? Кто они, так плотоядно растаскивающие *мои Салюты*?..

Не помня себя от радости и страха, я побежал к телефонной будке. У моего товарища – о, велосипеда мои! – нашлась двухкопеечная монета. Дрожащим пальцем я стал набирать номер. По всем законам жанра аппарат проглотил монету и не подавился. Другой монеты не было. Как заправский попрошайка, я стал клянчить две копейки у прохожих. Наконец велосипеда послали мне добрую женщину, и я услышал в трубке мамин голос.

– Мама, «Салюты»!.. В «Спортике», мама!..

Но маму было очень плохо слышно, она что-то говорила мне в ответ, но так тихо, будто была где-то далеко, не на соседней улице, а на другой планете.

«Салюты» таяли на глазах. Я побежал домой. В тот вечер я бежал не хуже Форреста Гампа. Где-то у самого дома я вдруг почувствовал, что последний «Салют» продан. Сердце моё, стучавшее пулемётом «Максим», замерло. Я понял, что отдаю душу велосипедам.

Из последних сил я вбежал домой в какой-то необычной тишине сквозь мокрое изображение. Как будто ты в очках, а очки каким-то образом попали под дождь отдельно от тебя. И увидел... новенький, только из магазина, «Салют-С». Мой личный «Салют» цвета спелых вишен...

Оказывается, пока я был в школе, мама каким-то чудом прознала, что завезли велосипеды, и пыталась мне это сказать в телефонную трубку. Но я её не слышал. Или всё-таки услышал, но боялся поверить.

В тот же вечер я научился ездить на двухколесном велосипеде. Учили всем двором. Даже чей-то папа помогал. Мой цвета спелых вишен «Салют-С» прослужил мне верой и правдой много лет. Я на нём исколесил вдоль и поперёк весь родной штат Нагатино, думаю, не раз попав в след своих собственных шин. На нём я попал и в мою самую крупную велосипедную катастрофу. По трагическому стечению обстоятельств меня на полном ходу сбил Макс с седьмого этажа. Тот самый Макс, счастливый обладатель первого во дворе «Салюта-С». В результате катастрофы мной на месте столкновения был посеян коренной зуб, и из него потом выросло зубное дерево, которым до сих пор пугают детей. «Будешь плохо себя вести, отведём и поставим под зубное дерево, и оно тебя съест» – говорят местные мамы своим доверчивым продолжениям.

Вообще с Максом мне не везло. В другой раз из-за него я получил осколочное пулевое ранение. Небольшой шрам от него до сих пор украшает моё лицо. Больше велосипедов у меня не было. Так что своему «Салюту» я ни разу не изменил.

Последний раз я сел на него в день своего шестнадцатилетия. Уже два года, как не было мамы. И года два как я на него не садился. Мы хорошо отметили с друзьями. Я был тогда

истовым поклонником группы «Браво». Носил пиджак, зауженные брюки и пёстрый галстук. И вот во всём этом стильном великолепии я, ни кем не замеченный, сел в самый разгар праздника на свой забытый велосипед и покатил вдоль набережной. Был тёплый апрель. Лицо задувал ветер с Москвы-реки. Редкие прохожие оглядывались на меня. А я ехал, не думая ни о чём. Просто крутил педали. Мелькали виды, картинки в голове из прошлой жизни, и из одного любимого мной в то время фильма. В основном крупные планы главной героини.

Возвращаясь, я подумал, что это было моё запоздавшее прощание с пятью тысячами дней детства.

Прощайте, сны!

Если бы я был братом Крестовским, группа называлась бы по-другому.

Я не видел тебя три года. Ты повзрослела. Тогда ты была девочкой. Очень хорошенькой девочкой. Хорошенькой девочкой с задатками плохой. Бутон был закрыт. И вот он раскрылся. Ты предстала во всей красе. Тёмные каштановые волосы до самой попы. Пышные волосы до пышной попы. Немного пухлые губы. Карие глаза, никогда не глядевшие на меня, всегда чуть в сторону... Я смотрел на тебя, и что-то происходило с подачей кислорода в мои лёгкие и мозг. Я глупел на глазах.

Свидание длилось недолго. Как обычно, часа полтора. Стандартное свидание, во время которого я, как всегда, потерял это самое время. *Как сосновую иглу в стоге августовского сена. Конец лета, конец игры. Полтора часа другой, неведомой и прекрасной, жизни. Счастливые боги, рождённые проекцией луча. Полтора часа, как тысяча лет и как одно мгновение. Время во тьме исчезает. Машет ручкой. Умирает, как в конце времён. Свет зажигается, и время снова шевелится. Выплывает из тьмы. Распятое время...*

Мы с братом молча вышли на улицу из кинотеатра «Меч-

та», что на Каширке. Такой типовой советский кинотеатр, с красными изрезанными креслами.

На улице уже успело стемнеть. Это был последний киносеанс. Стояли последние августовские дни. Точнее ночи. От них уже веяло осенью. Скоро в школу, которую я так и не закончу. Сбегу в гущу самого начала ревущих девяностых. Отправлюсь в свободное плаванье по новой свободной жизни...

Мы всё так же молча сели в полупустой оранжевый автобус, и молча покатали по ночной земле домой. Говорить не то что не хотелось, а просто было невозможно что-либо говорить. Мы даже не смотрели друг на друга. Прятали глаза долу, отводили в сторону, за окна автобуса. Видеть друг друга было невозможно, как и говорить. Видеть друг друга значило быть *здесь*, а не *там*.

За стёклами мелькали дома, улицы, редкие прохожие. И всё какие-то блёклые краски. Так и хочется написать: *блёклые краски реальности*. Звучит вычурно и фальшиво. Но именно так я тогда и подумал. Слово в слово.

В этих блёклых красках мы доехали до своей остановки. Потом ещё минут десять плелись пешком. Не говоря ни слова, разошлись по своим комнатам и легли спать.

Мама успела сказать, что звонила Таня и просила перезвонить, когда бы я ни пришёл, *в любое время*. Мама очень точно передала Танины слова. С правильным акцентом, ударением и подтекстом. Даже удивительно. Наверное, мама хо-

тела, чтобы я перезвонил. Ей нравилась Таня.

Ещё совсем недавно я звонил ей по телефону и не дышал. Через какое-то время осмелел и дышал. Помню, как долго репетировал свой первый разговор. Режиссёром была старшая сестра, поводом – шариковый дезодорант, который я хотел Тане подарить. Часами простаивал зимой в её подъезде и ждал. Дожидался, говорил какую-то ерунду и уходил домой несчастно-счастливый одновременно. Приходил в школу со значком, из которого был вынут какой-то винни-пух и вставлена её фотография с надписью «Мадонна». Да, было и такое...

А потом появилась ты. И я забыл про Таню в один день и час, будто её и не было вовсе. Будто у меня открылись глаза. Я бегал к тебе на свидания десятки раз. Водил друзей и после жалел об этом, потому что они ничего не понимали. Места встреч менялись. «Орбита», «Пионер», «Мечта»... Мир стал тесен, мир измельчал и свёлся к коробке типового советского кинотеатра с красными изрезанными креслами. И всё перевернулось с ног на голову. Теперь звонила Таня.

Я кивнул маме и пошёл спать.

Сон рождает красавиц. Мои ночи прекраснее ваших дней... Ты будешь моей, пока не забрезжит заря. Я окончу школу, поступлю во ВГИК и стану великим режиссёром. Как Тарковский. И когда меня выгонят из страны, я эмигрирую во Францию, напишу гениальный сценарий, который захотят купить все киностудии мира. И я соглашусь, и сниму по нему

фильм. С одним условием. Главную роль играть будешь ты. Ты будешь влюбляться в меня постепенно. С каждым днём съёмок... как по ступенькам босиком вверх... босыми ступнями по ступенькам... всё больше и больше... всё дальше и дальше... убежать в меня... пропадать во мне... Сначала ты даже не будешь этого замечать. Какой-то маленький чернявый русский... Но сценарий, какой сценарий!.. Как он мог так понять женщину?.. Проникнуть в самую суть... Понять меня... Как будто давно меня знал... Мои самые сокровенные тайны... Будто этот сценарий – личное послание мне. Откуда узнал, как подслушал?..

Так будешь думать ты, будто Джульетта веронской ночью на балконе. И от этого несоответствия сценария и меня, ты начнёшь приглядываться ко мне. И открывать. А я никак не буду себя проявлять. И ты будешь думать: что же это за русский такой, не обращает на меня внимания? И в последний день съёмок... Нет, на премьере, в Каннах, мы будем подниматься по красной дорожке...

Вы, чтущие сейчас эти строки, не поверите, но я увидел её снова спустя двадцать лет. В канун третьего срока Путина, я к вящему своему удивлению, вычитал в интернете, что она ждёт меня ровно в два часа дня в одном из кинотеатров на окраине.

Я отменил работу, выдумав чушь несусветную, но поскольку о моей обязательности ходили легенды, никаких

препон не возникло.

С трудом найдя нужную улицу и дом, я увидел типовой советский кинотеатр из моего детства. Даже не думал, что такие ещё сохранились. Кинотеатр носил имя далёкого русского города у самого моря.

Войдя вовнутрь, я решил, что произошла какая-то ошибка. Моему взору предстал вещевой рынок. Маленький «Черкизон» в фойе бывшего кинотеатра. Всё, чуть ли не до потолка, было завешано дешёвым китайским шмотьём. Кругом одни одежды. Я прошёлся, глупо озираясь по сторонам, как человек, который что-то потерял. Там, где, как подсказывала память, должна была находиться дверь, я зарылся в одежду, отодвинул... просунул руку... И – о, чудо! За одеждами моя рука нащупала, а затем и глаза увидели, круглую потёртую ручку с мордой льва. Такие же были у меня дома. Не веря во всё происходящее, я потянул ручку на себя: и дверь открылась.

Зал был пуст. И полон красными изрезанными креслами... Но не успел я туда заглянуть, как воздух за моей спиной сгустился и явил женщину. Она была, подстать всему, не из нашего времени. То есть из нашего (чьё же оно, если не наше?), но не сегодняшнего. Её отчётливо выдавала невероятная причёска на голове.

Женщина (тётушка?) промычала, на манер космических пиратов из понятно какого фильма, что-то про билет и кассу. И, действительно, среди одежды рядом со стеклянным

завешанным входом, притаилось маленькое оконце кассы. Я подошёл, попросил один билет на дневной сеанс. В окошке назвали какую-то нереально маленькую сумму. Я протянул деньги. Руки слегка подтрясывало. И зажмурил глаза. Билет!.. Билет был из тонкой сероватой бумаги. Чёрным на сером, помимо всего прочего, стояла цена: 40 копеек...

Я вернулся в зал. По-прежнему, кроме меня здесь никого не было. Неуверенно прошёл и сел в самый центр. В зале было холодно. А кресла... кресла оказались маленькими, жёсткими и очень неудобными.

Я всё оглядывался, думал, сейчас придут и выгонят... Но свет погас, и время помахало мне рукой и начало блекнуть. Я не видел тебя двадцать лет...

.....

Я вышел из кинотеатра при свете дня. На землю лились, яростно били в неё, лучи яркого весеннего солнца. Окраина Москвы была по-своему очаровательной и полной тайн. Пробегали коты и кошки. Лениво лаяли дворняги, неслись авто, над головой шумели голуби, спешили прохожие...

Что я увидел? Наивный фильм, сейчас уже не очень смешной и не особенно трогательный. Фильм, который мне было скучно смотреть. Фильм, который я не досмотрел до конца. Но девочка-то хоть всё так же прекрасна? Да и девочка уже не та... Нет, хорошая девочка. Но уже не та. Время колдует и над целлулоидной вечностью.

И вспоминал я сейчас почему-то Таню. И тот вечер: *простила перезвонить, когда бы ни пришёл, в любое время...*

Я с ней даже не целовался ни разу. Видел, как она целуется с другом брата. У нас дома на вечеринке, в полутьме и медленном танце под «Скорпионз». Мы танцевали медленные танцы под «Скорпионз»... А сам – ни разу.

У Кубрика есть фильм, название которого я всегда путаю, то ли широко *открытые* глаза, то ли *закрытые*... Как, оказывается, легко перепутать закрытые и открытые глаза.

Странно... набившая оскомину строчка: *что имеем не храним, потерявши плачем*, в переложении Булата: *чего не потеряешь, того, брат, не найдёшь*... Нет, даже не это. А вот что. Наше прошлое, бывшее когда-то таким блёклым, с течением времени превращается в не наше кино. И расцветает нездешними красками.

Странно, что собственное прошлое может быть несбывшимся.

Письма к Софи. Лето в Крыму

Дорогая Софи!

Увидев рисунок, я сразу вспомнил ту ночь. Две бочки, дерево, вдалеке река и другие деревья, а над всем этим – неестественно большая, идеально круглая и белая луна. Протяни руку, и она твоя... Невозможно не вспомнить Калигулу. Только вместо луны как образа невозможного – ты. Но это лирическое отступление. Итак, увидев рисунок с бочками и луной, я сразу вспомнил ту волшебную ночь.

Было это летом девяносто седьмого года. И такое лето, наверное, бывает только раз в жизни. Со своей будущей женой я поехал в Феодосию. Отец достал ей путёвку в местный санаторий, а я отправился через неделю вслед за ней без всякой путёвки. Я ехал на верхней полке плацкартного вагона, мне было девятнадцать лет... нет, уже двадцать. Мне было двадцать лет, и я никогда не видел моря. Поезд плёлся около двух суток. Подолгу останавливался, замирал на полустанках, как обветшалый бронепоезд на запасных путях, пропускал другие поезда. Я читал Цвейга, смотрел в окно, изнывал от духоты и мечтал о встрече, считая часы, а потом минуты.

Мы встретились на феодосийском вокзале, как и полагается влюбленным. Был день, стояла невыносимая жара. Пошли в кафе, я выпил двести грамм (простите, граммов) коньяка и чуть не двинул кони. Сердце стучало, будто хотело

вырваться на волю и разорваться на части. Я не на шутку испугался, но всё обошлось. С тех пор не люблю коньяк.

Это было хорошее время. По сути, наш медовый месяц. Всё происходило очень бурно. Мы много любили друг друга, ругались, мирились, само собой купались в море, гуляли по городу, где было особенно хорошо вечерами, когда жара опадала, как в обмороке, и воздух становился приятно тёплым и нежным, по-восточному обволакивающим. В доме, где жил Александр Грин, я впервые услышал, что *несбывшееся рано или поздно позовёт тебя*. В галерее Айвазовского голова кружилась от бесконечных марин, поданных с армянской щедростью.

В один из вечеров мы с будущей женой встретились с бывшей старостой нашего курса. Миловидной татарочкой, которой я был увлечён на первом курсе и которая не доучилась и сбежала от нас в свободное плаванье. По случайному стечению обстоятельств, она отдыхала в Орджоникидзе – посёлке, находящемся километрах в 10–20 от Феодосии.

Мы славно напились крымских вин в простеньком кафе прямо на берегу моря. Танцевали так, что с нами танцевало всё кафе. А кто не танцевал, хлопал и пил за наше здоровье. Хозяин кафе хотел, чтобы мы приходили к нему каждый вечер.

Выплыв из кафе *летящей походкой*, кричали, что «Аквариуму» 25 лет (что было истинной правдой, и тем летом проходили юбилейные концерты). В хмельном вдохновении и в

погоне за ускользящей красотой – *чтоб не кончалась эта ночь* – переместились к самому морю, на мелкие камни, где допили остатки в массандровской бутылке. И вошли в воду, и плавали в солёном парном молоке по лунной дороге... Расстались мы, договорившись встретиться в Орджоникидзе, как только закончится путёвка.

Мы поменяли обратные билеты, путёвка закончилась, и верные данному в сладостном опьянении слову отправились в Орджоникидзе на маленьком допотопном автобусе по невероятному серпантину. Жену укачало, хотя ехать было всего каких-то полчаса, так что вылезла она из автобуса еле живая, зелёного цвета. Мы сняли совсем маленькую, но уютную халупу с удобствами на улице.

Бывшая староста с семьёй своего старшего брата, врача-гинеколога, снимала квартиру на первом этаже пятиэтажки. У гинеколога была приятная жена и на редкость тихий сын. Купаться мы ходили на дикий нудистский пляж. Там я наконец-то увидел свою первокурсную любовь во всей красе, но уже спокойным взглядом поблекшей мечты прошлого. Ещё три года назад я отдал бы за это, если не всё, то многое, очень многое. А сейчас... Я смотрел на неё будто это я врач-гинеколог, а не её брат. Такая переменчивость казалась мне удивительной и сбивала с толку.

В Орджоникидзе было ещё лучше, чем в Феодосии. Был импровизированный пеший поход прямо по берегу моря до Коктебеля, где нас встретила с распростёртым небом неча-

янно грянувшая гроза. Это было похоже на всемирный потоп, будто *окна небесные отворились*. Мы вернулись промокшие до ниток и костей.

Были южные ночи с шумом цикад. В Феодосии все ночи напролёт жизнь не смолкала ни на минуту ресторанной музыкой и громкими захмелевшими голосами. А здесь, в нашей халупе на окраине Орджоникидзе, мы оказались как будто под покровом небес. Мы любили друг друга так, как возможно любить лишь южной ночью, в двадцать лет, когда у тебя случился первый настоящий роман, под шум цикад и далёкого прибоя, который, вполне возможно, и не был слышен, и море рокотало в ушах фантомным шумом. Звенела жизнь в эти ночи. Но вспомнил я и хотел рассказать о другой ночи.

Накануне нашего отъезда с утра зарядил тоскливый крымский дождь. Мы сели на застекленном балконе у них на квартире ещё днём и начали проводы. Пили греческие коньяки (опять!..) до самой ночи. Много смеялись, как-то очень интересно говорили обо всём на свете. Сейчас даже не знаю с кем можно так же интересно и в таком же количестве говорить. А тогда было всё интересно. Буквально всё. Хотя запомнилось только одно: брат-гинеколог коллекционировал зародышей после абортв. Это была какая-то жуть, конечно. Особенно учитывая то, что он был очень милым в общении человеком, и жена его была очень милой, и сын. Правда, спустя несколько лет я узнал, что он сделал аборт на каком-то

уже серьёзном сроке, и после этого коллекция из его комнаты исчезла.

Прощались мы долго, разошлись уже глубокой ночью и еле дошли до нашего жилища. И вот это как раз та самая ночь, которую я вспомнил, а всё остальное вспомнилось за компанию. Я рухнул на кровать не раздеваясь, провалился в чёрную вату. Но довольно быстро очнулся от подступившей дурноты. Я выбежал на улицу и в стороне от дорожки, рядом с какой-то бочкой нечеловечески зарычал.

Весь остаток ночи я бегал на улицу и извергал из себя в облюбованном месте насущный и греческие коньяки – довольно недешёвые, надо сказать – проклинал себя, алкоголь и всё на свете. Но всякий раз, когда я, держась рукой за бочку, в изнеможении поднимал голову, мне открывался потрясающей красоты вид. Силуэт небольшой горы и прямо над ней неестественных размеров, идеально круглая и белая луна. Только протяни руку, и она твоя... Я смотрел на всё это и шептал: «Боже, как красиво»!..

Наутро мы сели в поезд, вернулись в Москву, закончили последний курс, расписались, чуть не развелись, повенчались, родили дочку, опять чуть не расстались... В общем, Софи, дальше была долгая взрослая жизнь.

Старые пластинки

«Пластинки были настолько старыми, что уже никому ничего не напоминали».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.